СМЕШЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Учение Л. Н. Толстого [26]

I

Теперь очень много толкуют о Толстом. Но чем больше толкуют о нем, тем больше затемняют, хотя разумеется и невольно, истинный смысл его доктрины. Можно сказать, не опасаясь преувеличения, что о Толстом уже наговорено значительно больше вздора, чем о каком бы то ни было другом писателе. Не мешает поэтому хорошенько припомнить, чему собственно учил Толстой.

Он думал, что его учение есть не что иное, как правильно понятое учение Христа, выражающееся в словах: не противьтесь злу. В книге „В чем моя вера?“ [27] он говорит: „слова эти: не противьтесь злу, или злому, понятые в их прямом значении,—были для меня истинно ключем, открывшим мне все. И мне стало удивительно, как мог я так навыворот понимать ясные, определенные слова. Вам сказано: зуб за зуб, а я говорю не противься злу или злому, и что бы с тобой ни делали злые, терпи, отдавай, но не противься злу или злым

Что может быть яснее, понятнее и несомненнее этого? И стоило мне понять эти слова просто и прямо, как они сказаны, и тотчас же во всем учении Христа, не только в нагорной проповеди, но и во всех евангелиях, все, что было запутано, стало понятно, что было противоречиво, стало согласно; и главное, что казалось излишне, стало необходимо. Все слилось в одно целое и несомненно подтверждало одно другое, как куски разбитой статуи, составленные так, как они должны быть" [1].

Толстого думали смутить, спрашивая его: „а что вы стали бы делать, если бы пришли Зулу[28] и захотели изжарить ваших детей?" [2]. Но он не смущался.

„Все люди братья,—отвечал он,—все одинакие. И если пришли Зулу, чтобы изжарить моих детей, то одно, что я могу сделать, это постараться внушить Зулу, что это ему невыгодно и нехорошо, — внушить, покоряясь ему по силе. Тем более, что мне нет расчета с Зулу бороться. Или он одолеет меня и еще более детей моих изжарит, или я одолею его, и дети мои завтра заболеют и в мучениях худших умрут от болезни" [3].

Тут много неясного и даже прямо удивительного по крайней мере на первый взгляд. Больше всего поражает ссылка на то, что если я вырву своих детей из рук кровожадного „Зулу", то они завтра умрут от болезни. Невольно возникает вопрос: неужели это случится с ними за грех родителя? Но мы сейчас увидим, что это не так

[1] Л. Н. Толстой. „В чем моя вера?", 1909, стр. 14.

[2] Человек, поставивший ему этот вопрос, как видно, считал зулусов людоедами! Это ошибка, на которой здесь останавливаться, однако, не стоит.

[3] „Спелые колосья". Сборник мыслей и афоризмов, извлеченных из частной переписки Л. Н. Толстого, составил с разрешения автора Д. Кудрявцев, 1896, стр. 220.

странно, как представляется сначала. Далее, остается неясным, как надо понимать слова Толстого о том, что „Зулу" еще более изжарит моих детей, если я стану ему сопротивляться: значит ли это, что вместо двух ребят он изжарит например четырех, или что то же число детей подвергнется более продолжительному действию огня, или еще что-нибудь другое? Наконец в данном случае трудно согласиться и с тем, что „все люди одинакие". Это как для кого! Для того, кого собираются посадить на вертел, людоед совсем не одинаков с человеком, воздерживающимся от употребления в пищу человеческого мяса. Но я не хочу спорить с Толстым. Да и нет мне „расчета" с ним спорить: у него так много противоречий, что все равно за всеми не угоняешься. Лучше определить, почему его учение так богато противоречиями. А для этого нужно понять его внутреннюю природу.

Вернемся к „непротивлению злу". Только что рассмотренный нами пример зулуса, пожирающего детей, достаточно выразителен. Не менее выразителен и следующий пример.

На вопрос: „Если на моих глазах мать засекает своего ребенка — что мне делать?", — Толстой отвечает: „Одно — поставить себя на место ребенка" [1].

Кто думает, что дальше итти в этом направлении нельзя, тот ошибается. Толстой идет еще дальше. Он думает, что человек, на которого напала бешеная собака, поступит хорошо, если не будет ей сопротивляться. Это кажется невероятным. Поэтому я предоставляю слово самому Толстому.

[1] „Спелые колосья", стр. 210. См. также брошюру „О борьбе со злом посредством непротивления"[29] и многие места в книге „В чем моя вера?"

ПУБЛ. БИБЛ. имени В. И. ЛЕНИНА

„Мне следует помнить, что лучше, чтобы любимый мною человек теперь же, при мне, умер от того, что он не хотел лишить жизни хотя бы бешеную собаку, чем то, чтобы он умер от объядения через много лет и пережил меня“ [1].

Сомнения нет. Не следует лишать жизни, „хотя бы бешеную собаку“, хотя бы для спасения жизни человека. И вот возникает вопрос: если убийство бешеной собаки человеком зло, то почему же не зло убийство человека бешеной собакой? А если это тоже зло, то интересно знать, какое из этих двух зол — меньшее. А если я знаю, какое из них меньшее, то непонятно, почему я не должен предпочесть его большему. И, кажется, каждый здравомыслящий человек должен сказать: из двух зол непременно следует выбирать меньшее. Смерть бешеной собаки есть несравненно меньшее зло, чем смерть человека, поэтому лучше убить собаку, чем пожертвовать человеком. Однако, с точки зрения Толстого, дело представляется в ином виде.

Для его понимания полезно заметить, что рассуждению о бешеной собаке у него предшествуют следующие слова: „На известной ступени духовного развития человеку следует воздерживаться от усиления в себе чувства личной жалости к другому существу. Чувство это само по себе животное, и у чуткого человека оно всегда проявляется в достаточной силе без искусственного разжигания. Поощрять в себе следует сострадание духовное. Душа любимого человека всегда должна быть для меня дороже тела“ [2].

[1] „Спелые колосья“, стр. 40.
[2] Там же, стр. 39—40.

Заметьте это противопоставление „животной“ жалости „состраданию духовному“, „тела“ — „душе“. Им объясняется, почему Толстой думает, что бешеной собаки не следует убивать даже и тогда, когда от этого зависит спасение человеческой жизни, и почему не следовало бы сопротивляться „Зулу“ даже и в том случае. если бы сопротивление могло спасти „моих детей“. Неприятно быть съеденным „Зулу“, и неприятно быть искусанным бешеной собакой. Но это — неприятности чисто телесные, им не следует придавать большое значение. Сегодня вас спасли от бешеной собаки, а „через много лет“ вы умрете от объядения; сегодня „моих детей“ вырвали из рук кровожадного „Зулу“, а завтра их унесет какая-нибудь эпидемия. Не следует усиливать в себе чувство жалости к телу — душа дороже тела. А душа не может помириться с насилием, хотя бы оно совершалось ради самых очевидных интересов тела.

Не подумайте, что Толстой равнодушно говорит только о чужих страданиях. Нет, он и на свои страдания смотрит, по крайней мере хочет смотреть, — с неменьшим равнодушием. Он говорит: „Ну, — болит зуб или живот, или найдет грусть и болит сердце. Ну, и пускай болит, а мне что за дело. Либо поболит и пройдет, либо так и умру от этой боли. Ни в том, ни в другом случае нет ничего дурного“ [1]. Это не эгоизм, а просто пренебрежение „телом“ во имя „духа“. Такое пренебрежение было когда-то свойственно христианам. И с этой стороны учение Толстого в самом деле имеет много общего с христианским.

В другом месте он говорит: „надо заменять мирское, временное, вечным — это путь жизни и по нем-то надо

[1] Там же, стр. 181.

итти нам" [1]. Тут противопоставление мирского и временного вечному имеет у него тот же самый смысл, как и вышеуказанное противопоставление интересов тела интересам духа. Признайте его теоретическую и практическую правомерность и вы сами должны будете согласиться, что его отношение к „Зулу" совершенно правильно. Ведь важно только вечное, а „Зулу" не вечен: причиняемые им страдания только временные. То же и с розгами, то же и с бешеной собакой. Логика имеет свои неоспоримые права.

II

Учение Толстого о непротивлении злу целиком основывается на противопоставлении „вечного" — „временному", „духа" — „телу". Присмотримся поближе к этому противопоставлению.

В том виде, какой оно имеет у Толстого, оно равносильно противопоставлению внутреннего человеческого мира, рассматриваемого под углом нравственных потребностей и стремлений, — окружающему человека внешнему миру. Собственное тело всякого данного индивидуума, равно как и тело всякого из его близких, представляется при этом составной частью внешнего мира. Это — один из способов противопоставления сознания бытию. Он нередко встречается в истории мысли, но у Толстого он приобретает большую выпуклость, вследствие чего с большей силой выступают все свойственные ему противоречия.

Сознание не независимо от бытия. Оно сначала определяется им, а потом воздействует на него, помогая таким образом его дальнейшему самоопределению. Это

[1] „Спелые колосья", стр. 176.

более или менее ясно понимают или „чувствуют инстинктом" не только люди, но и многие высшие животные. Если бы высший животный мир перестал чувствовать эту истину, он прекратил бы свою борьбу за существование, т. е. исчез бы с лица земли. Разумеется истина эта известна и Толстому. Почему не следует вырывать ребенка из рук засекающей его матери? Потому что она еще более озлобится под влиянием учиненного над ней „насилия", а вследствие этого увеличится сумма зла в мире. Но „насилие" над этой мегерой[80] явилось бы воздействием на нее со стороны внешнего мира. Стало быть, состояние ее сознания определилось бы бытием. Иногда Толстой идет еще дальше в области материалистического объяснения явлений внутреннего мира. Он говорит: „На всех находят тяжелые минуты, большей частью имеющие физическую причину" [1]. Но все это лишь отдельные замечания, отрывочные проблески материалистической мысли, не сливающиеся в одно целое и к тому же выраженные весьма неудовлетворительно. В своем миросозерцании Толстой остается крайним идеалистом, в глазах которого материализм есть чистейшая бессмыслица. И когда этот крайний идеалист выступает в роли учителя жизни, он обеими ногами переходит на точку зрения полной независимости внутреннего мира от внешнего.

„Людям бывает дурно только от того, — говорит он, — что они сами живут дурно. И нет ничего вреднее для людей той мысли, что причины бедственности их положения не в них самих, а во внешних условиях. Стоит только человеку или обществу людей вообразить, что испытываемое им зло происходит от внешних условий, и

[1] „Спелые колосья", стр. 130.

направить свое внимание и силы на изменение этих внешних условий, и зло будет только увеличиваться. Но стоит человеку или обществу людей искренно обратиться на себя и в себе и в своей жизни поискать причины того зла, от которого он или оно страдает, и причины эти тотчас же найдутся и сами собой уничтожатся" [1].

Нельзя дальше итти в признании независимости внутреннего мира человека от внешних условий. Но если внутренний мир человека от этих условий совершенно не зависит, то и нет никакой надобности влиять на эти условия в интересах внутреннего мира. Обращаясь к рабочим, Толстой советует им отказываться от участия в войсках и от работ на землях помещиков. Но он советует это, по его собственным словам, „не потому что это для рабочих невыгодно и производит их порабощение, а потому что участие это есть дурное дело" [2]. Он прямо говорит: „Во всяком случае все улучшения в положении рабочих произойдут только от того, что они сами будут поступать более согласно с волей бога, более по совести, т. е. более нравственно чем они поступали прежде"[3]. Это значит, что объявление независимости внутреннего мира от внешнего равносильно провозглашению ненужности планомерного воздействия человека на окружающие его внешние условия, контроля сознания над бытием. И Толстой действительно провозглашает эту ненужность. Он пишет:

„Мы все забываем, что учение Христа не есть учение вроде моисеева, магометова и всех других человеческих учений, т. е. учений о правилах, которые надо исполнять.

[1] Л. Н. Толстой „К рабочему народу" [31], стр. 39.
[2] Там же, стр. 22.
[3] Там же, стр. 25.

Учение Христа есть евангелие, т. е. учение о благе. Кто жаждет — иди и пей. И потому по этому учению нельзя никому ничего предписывать, никого ни в чем нельзя укорять, никого нельзя осуждать" [1].

Если нельзя никого осуждать и нельзя никому ничего предписывать, то очевидно, что следует предоставить внешнему миру быть тем, чем он был до сих пор. Нельзя ничего делать для его исправления. „Одно, что можно, что и делали и всегда будут делать христиане,— говорит Толстой,— это чувствовать себя блаженным и желать сообщить ключ к блаженству другим людям" [2].

В другом месте он ту же самую мысль выражает еще яснее.

„Когда видишь, что человек, которого любишь, грешит, то не можешь не желать того, чтобы он покаялся; но при этом я должен помнить, что в лучшем случае, т. е. при самой безусловной искренности, он может каяться только в пределах своей совести, а не в пределах моей.

„Требования моей совести от меня гораздо выше требований его совести от него, и было бы совсем безрассудно с моей стороны мысленно навязывать ему требования моей совести.

„Кроме того, в этих случаях не следует забывать и того, что как бы человек ни был виноват, никакие споры с ним, ни обличения, ни увещевания сами по себе не в силах заставить его покаяться, так как каяться человек может только сам, другой же никак не может его раскаять" [3].

[1] „Спелые колосья", стр. 17.
[2] Там, же, стр. 18.
[3] Там же, стр. 147—148.

Если никакие споры, ни обличения, ни увещевания сами по себе не в силах заставить человека покаяться, то нужно ли спорить, обличать, увещевать? Если один человек никак не может „раскаять" другого, то нужно ли распространять свои идеи? У Толстого выходит, что совсем не нужно. Вот прочтите.

„Очень рад тому, что в последние три года во мне исчезло всякое желание прозелитизма[32], которое было во мне очень сильно. Я так твердо уверен в том, что то, что для меня истина, есть истина для всех людей, что вопрос о том, когда какие люди придут к этой истине, мне не интересен" [1].

Но в таком случае, какой же смысл имеет знаменитое толстовское „Не могу молчать!"?[33] Какой смысл имеет та его проповедь против смертной казни, которая привлекла к нему горячие симпатии во всех странах цивилизованного мира? Только тот, что Толстой не всегда оставался толстовцем.

Только тот, что, провозгласив независимость внешнего мира человека от внутреннего, он вынужден был по временам признавать эту зависимость. Только тот, что, объявив контроль сознания над бытием ненужным и невозможным, он вынужден был признавать его и возможным, и нужным. Другими словами — только тот, что его противопоставление „вечного" „временному" не выдерживало критики жизни, и что он сам не мог по временам не отказываться от этого противопоставления. Еще иначе: Толстой представлялся своим современникам великим учителем жизни только тогда, когда он отказывался от своего учения о жизни.

[1] „Спелые колосья", 142.

III

И так было не только там, где речь шла о смертной казни. Так было решительно везде. Толстой говорит:

„Собственность — это фикция, которая существует только для тех, кто верит Мамону[34] и потому служит ему.

„Верующий в учение Христа освобождается от собственности не каким-нибудь поступком, не передачей собственности сразу или понемногу в другие руки (не признавая значения собственности для себя, он не может признавать значения ее и для других), а христианин освобождается от нее внутренне, сознанием того, что ее нет и не может быть, главным же образом тем, что она ему не нужна, ни для себя, ни для других" [1].

Когда не признаешь значения собственности для себя, нельзя, оставаясь последовательным, признавать ее значение для других. Это правильно. А если это правильно, то правилен и тот вывод, что христианин должен освободиться от собственности „внутренне", а не каким-нибудь „поступком" — например передать собственность в другие руки. Обладая изумительным художественным талантом, гр. Толстой далеко не отличался силой логики. Он очень часто себе противоречил. Но здесь его логика безупречна; здесь его вывод неоспорим.

Теперь я спрашиваю вас, читатель: что же нам думать о тех людях — может быть и вы были в их числе, — которые не переставали требовать от гр. Толстого „поступка" вроде передачи им своей земли яснополянским крестьянам и которые весьма огорчались тем, что он так и не совершил подобного „поступка"?

[1] „Спелые колосья", стр. 153.

По-моему о таких людях можно — извините! — сказать только одно: они добры, но не умны. И во всяком случае они совсем не поняли гр. Толстого.

В той же книге „Спелые колосья", в которой находится только что приведенное место о собственности, мы находим еще вот какое рассуждение:

„Если бы вы свою собственность просто бросили, не давая никому (разумеется, не соблазняя людей тем, чтобы избыть ее нарочно), и показали бы, что вы не только так же, но еще более радостны, спокойны, добры и счастливы без собственности, как с нею, то вы гораздо более подействовали бы на людей и сделали бы им больше добра, чем если бы вы приманивали их дележом своего избытка".

Кажется ясно! А дальше еще яснее, если только можно выражаться яснее.

„Я не говорю, что не надо действовать на других, помогать им, напротив, я считаю, что в этом жизнь. Но помогать надо чистым средством, а не нечистым — собственностью. Для того, чтобы быть в состоянии помогать, главное дело, пока мы сами не чисты—очищать себя"[1].

Гр. Толстой усердно „очищал себя". Это представлялось и должно было представляться ему „главным делом". А от него ждали и требовали „поступка", совершив который, он изменил бы самому себе. Где же тут логика?

Я знаю: мне возразят, что гр. Толстой не „просто бросил" свою землю, а совершил „поступок", отдав ее своей семье, и что последствия этого „поступка" заставляли сильно страдать его самого. Еще недавно г. Буланже [35] следующим образом подкреплял свой проект

[1] Спелые колосья", стр. 159.

организации фонда для выкупа в пользу крестьян яснополянской земли.

„Всякий, кому приходилось сталкиваться со Львом Николаевичем, мог заметить, какое страдание доставляло ему то сознание, что имение, в котором он жил, он закрепил много лет тому назад за своими наследниками, и оно принадлежит людям, которые будут в той или иной форме эксплоатировать трудящихся на них крестьян. Трудно представить, какую каторгу представляла для него в этом отношении жизнь в Ясной Поляне. Черкес, охранявший барское добро и не стеснявшийся расправой с крестьянами, поимка баб, собирающих траву, приказчиком, сдача в аренду земли крестьянам Ясной Поляны".

Все это так. Я понимаю разумеется что „черкес" должен был сильно мучить Толстого. Еще бы! Но это обстоятельство нисколько не изменяет внутренней логики толстовского учения. Мы уже видели, какова эта логика.

Данный человек живет в роскоши. По учению Толстого, это значит, что у него много собственности, основанной на чужом труде и защищаемой с помощью насилия. Это — зло. Что же делать? Что предпринять по отношению к этому человеку?

Толстой отвечает: „Я могу, по грубости своей, отнять у него возможность роскоши и заставить его работать. Если я сделаю это, я ни на волос не подвину дело божие — не двину душу этого человека".

Это уже знакомое нам противопоставление интересов „души" интересам „тела", „вечного" „временному". Поведение Толстого определяется интересами „души", требованиями „вечного". „Я не буду, — рассуждает он, — ничего делать, ни говорить для того, чтобы заставить этого человека делать дело божье, а буду только жить

с ним в общении, отыскивая и усиливая все то, что нас соединяет, и отстраняясь от всего того, что мне чуждо. Это единственное средство исправления человека, широко пользующегося собственностью, основанной на чужом труде. Но это верное средство: и если я сам делаю дело божье и живу им, я вернее смерти привлеку человека к богу и заставлю делать дело его" [1].

Мы не обязаны разделять оптимизм Толстого: грешник, живущий в роскоши, т. е. эксплоатирующий чужой труд, может остаться нераскаянным. И все-таки мы должны признать, что Толстой изменил бы себе, если бы отнесся иначе к грешнику, эксплоатирующему чужой труд. Логика имеет свои ненарушимые права. Но если это так, то очень плохо усвоили себе логику учения Толстого люди, огорчавшиеся тем, что он передал Ясную Поляну в собственность своей семьи.

Он мог бы „по грубости своей" отдать свою землю крестьянам, отнявши этим у своей семьи возможность роскоши и заставив ее работать. Но если бы он сделал это, он ни на волос не подвинул бы „дела божья", как он его понимал: он не двинул бы душ членов своей семьи. И вот, дорожа божьим делом, он повел себя иначе. Он сохранил за своей семьей материальную возможность роскошной и праздной жизни и продолжал пребывать с нею в общении, отыскивая и усиливая все то, что его с нею соединяло, и стараясь отстраниться от всего, что было ему чуждо.

Если судить по известному выступлению гр. Л. Л. Толстого[36] в „Новом времени"[37], тактика эта показала себя не весьма плодотворной, но это нас здесь не касается.

[1] „Спелые колосья", стр. 23.

Я вообще думаю, что толстовская тактика борьбы со злом неизлечимо бесплодна. И все-таки я вижу, что в данном случае его поведение нимало не противоречило его учению. Напротив, совершенно гармонировало с ним.

Толстой писал: „Дело христианина не в каком-нибудь известном положении, а в исполнении воли бога. Воля же бога в том, чтобы на требования жизни отвечать так, как того требует любовь к богу и людям; поэтому определять близость или отдаленность себя и других от идеала Христа никак нельзя по тому положению, в котором находится человек, или по тем поступкам, которые он совершает" [1].

А от него требовали определенного „поступка" хотели, чтобы он поставил себя именно в то, а не в другое положение. Кто же был непоследователен?

Он всячески старался образумить упрекавших. Он говорил им: „один человек, оставив жену или мать, или отца, огорчив и озлобив их, этим делом не совершает почти дурного поступка, потому что он не чувствует причиняемой боли; другой же, сделав тот же поступок, сделал бы поступок гадкий, потому что он чувствует вполне боль, которую причиняет" [2].

Толстой находил, что, уйдя из Ясной Поляны, он совершил бы дурной поступок, так как его уход причинил бы боль его близким и озлобил бы их. И он не уходил. Против этого решительно ничего нельзя было возразить с точки зрения его проповеди. Напротив! Надо было признать, что его поведение безупречно. А ему писали нелепые письма, к нему приставали с бессмысленными упреками в непоследовательности! Где же справедливость?

[1] „Спелые колосья", стр. 98.
[2] Там-же, стр. 99.

Подумайте только! Человек проповедует, что не следует противиться кровожадному „Зулу“, пожирающему беззащитного ребенка: противление было бы грехом потому, что еще более озлобило бы людоеда. Ему, т. е. проповеднику, а не людоеду, сперва возражают (Михайловский[38] и др.), а потом перестают возражать и ограничиваются рукоплесканиями. Он,—т. е. опять-таки проповедник, а не людоед,—учит, что если мать засекает своего ребенка, то единственно, что мы имеем право позволить себе, это подставить разгневанной мегере свою собственную спину. Слушатели не смеются, а продолжают рукоплескать. Наконец он учил, что не следует „противиться“ даже бешеным собакам. Его аудитория провозглашает его совестью России. А вот когда он отказывается озлобить свою собственную семью, когда он не решается огорчить женщину, которая в продолжение целых десятков лет была другом, которая ему самоотверженно помогала в его великом литературном труде, разделяя с ним святые восторги его несравненного художественного творчества, тогда его чувствительная аудитория начинает конфузиться за него и назойливо приставать к нему с вопросом: „когда же ты перестанешь себе противоречить?“ О, мудрецы![39]

IV

В печать проникло известие об интересной беседе В. Г. Черткова[40] с некоторыми слушательницами бестужевских[41] курсов, ездившими в Ясную Поляну. По словам г. Черткова, „Лев Николаевич не уходил из Ясной Поляны, из жизни, которая ему была тяжела, которую он считал лучшей, потому что видел в таком переходе эгоистический шаг“[42]. Это едва ли не единственные разумные

слова, которые были произнесены с тех пор, как совершился „исход“ Толстого из его родового гнезда. Именно так, именно эгоистический шаг... Господа, назойливо требовавшие такого шага от своего „учителя“, этого не сообразили. И не только эгоистический, такой шаг, повторяю, противоречил всему учению Толстого. Об этом тоже не догадались.

Правда, г. Чертков прибавил, что Толстой смотрел на свое пребывание в Ясной Поляне, как на тяжелый крест. И мне, конечно, и в голову не приходит сомневаться в этом.

Я хорошо помню трогательные строки, написанные им в ответ людям, спрашивавшим его: „Ну, а вы, Лев Николаевич, проповедывать вы проповедуете, а как исполняете?“ Строки эти дышат такой искренностью и написаны с такой благородной силой, что читатель наверно с величайшим удовольствием вспомнит их:

„Я отвечаю, что я виноват и гадок, и достоин презрения за то, что не исполняю, но при том не столько в оправдание, сколько в объяснение непоследовательности своей говорю: посмотрите на мою жизнь прежнюю и теперешнюю, и вы увидите, что я пытаюсь исполнить; я не исполнил и одной десятитысячной, это правда, и я виноват в этом, но я не исполнил не потому, что не хотел, а потому, что не умел. Научите меня, как выпутаться из сети соблазнов, охвативших меня, и я исполню, но и без помощи я хочу и надеюсь исполнить. Обвиняйте меня, я сам это делаю, но обвиняйте меня, а не тот путь, по которому я иду и который указываю тем, кто спрашивает меня, где, по моему мнению, дорога“ [1].

[1] „Спелые колосья“, стр. 223.

Это—настоящая трагедия, много перестрадал человек, из под пера которого вышли эти строки. Но в чем заключается „пафос“ этой трагедии (как выразился бы Белинский)[43]? Толстой говорит о бессильной борьбе своей с охватившими его соблазнами и хочет, чтобы винили его самого, а не тот путь, по которому он шел. Но на самом деле соблазны, если они и были, совсем не играли тут решающей роли, и виноват был не сам Толстой, а именно тот путь, по которому он шел—вернее, пытался итти.

Путь этот вел в мертвую страну квитиезма[44]. А Толстой был слишком живым человеком для того, чтобы хорошо чувствовать себя в этой стране. Он рвался из нее назад. И чем более он стремился вырваться из нее, тем более запутывался он в самых безвыходных и самых мучительных противоречиях. Он не может оставаться в бесплодной стране квиетизма. Но как только он выходит за ее пределы, его заставляет вернуться в нее непреодолимая логика его доктрины, основанной на противопоставлении „вечного“—„временному“, „духа “—„телу“.

Мы видели, что согласно этой доктрине, не следует развивать в себе физическую (животную) жалость к людям. Задача истинного христианина не в том, чтобы избавлять людей от физических страданий. Сегодня вы спасли своего друга от бешеной собаки, а „через много лет“ он умер от объядения. Чего же вы достигли? Это не все. Ни один человек не может „раскаять“ другого. Поэтому Толстой радовался, как мы знаем, тому, что в нем угасал дух прозелитизма. Находясь в таком настроении, он писал:

„Человек, понявши жизнь, как учит понимать ее Христос, как бы протягивает от себя наверх нить к богу

связывает себя с ним и, обрывая все боковые нити, связывавшие его с людьми (как и велит это Христос), держится только на одной божеской нити и ею только руководится в жизни“ [1].

Толстой превращается в монаду[45], у которой как известно нет окон на улицу. Вся его нравственность принимает чисто отрицательный характер: „Не сердись. Не блуди. Не клянись. Не воюй. Вот в чем для меня сущность учения Христа“ [2].

Но хотя у монады нет окон на улицу, улица не перестает бороться за свою жизнь, стремиться к наслаждению и временами тяжело страдать. Страдания эти доходят до сведения монады, и она отзывается на них, потому что ее сердце лучше ее доктрины. Толстой покидает бесплодную страну квиетизма.

В 1892 г. Россию постигает „недород хлебных произведений“. Крестьяне голодают. Толстой устремляется к ним на помощь[46]. Покинута роскошная жизнь в Ясной Поляне; начинается деятельное служение ближнему. Вы думаете Толстой счастлив, освободившись от тяжести яснополянского „креста“? Очень ошибаетесь. Слушайте.

„Удивительное дело! Если бы у меня еще было сомнение о том, можно ли деньгами делать добро, то теперь, на деньги покупая хлеб и кормя несколько тысяч человек, я уже совершенно убедился в том, что, кроме зла, деньгами ничего сделать нельзя.

„Вы скажете: «Зачем же вы продолжаете делать»?

„Затем, что не могу вырваться, и затем, что, кроме самого тяжелого состояния, ничего не испытываю и

[1] „Спелые колосья“, стр. 24.
[2] Там же, стр. 216.

потому думаю, что делаю это не для удовлетворения личности.

„Тяжесть не в труде, труд, напротив, радостен и увлекает, и не в занятии, к которому не лежит сердце, а во внутреннем постоянном сознании стыда перед самим собой“ [1].

Чего собственно стыдился в данном случае Толстой? Конечно, не того, что пришел на помощь своим ближним. Это было хорошо. Но плохо было по его мнению то, что он помогал им деньгами, которыми нельзя делать добро. Как же следует помогать ближним? Им следует помогать, открывая перед ними свет истинного учения. Толстой не страдал бы и не стыдил бы самого себя, если бы мог быть последовательным. А он был бы последовательным, он остался бы верен духу своего учения, если бы, придя в голодающую местность, изложил крестьянам, как следует жить по закону правды: „Не сердись. Не блуди. Не клянись. Не воюй“. Не подумайте, что я клевещу здесь на учение Толстого. Я только открываю перед вами его истинную природу. Толстой был вполне верен этому учению когда писал:

„Если хорошо представишь себе смерть и вызовешь в своей душе то, что уничтожает страх ее (есть только страх, — смерти самой нет), то, что вызовешь, с излишком достаточно для уничтожения всех плотских страхов и сумасшествия, и одиночного заключения“.

„Двадцать пять лет сумасшествия или одиночного заключения ведь, во всяком случае, только кажутся удлинением агонии, в сущности же удлинения нет, потому что,

[1] „Спелые колосья“, стр. 190—191.

перед той истинной жизнью, которая дана нам, час и тысячелетие все равно“ [1].

В этих строках легко узнать автора, придумавшего уже известные нам доводы в пользу непротивления злу: „объядение“, от которого „через много лет“ умрет мой друг, сегодня спасенный мною от бешеной собаки; эпидемия, которая завтра унесет моих детей, сегодня вырванных из рук „Зулу“. Если „нет удлинения агонии“ для человека, которого посадили в тюрьму на 25 лет, то нет увеличения мучительности „агонии“ и для человека, которому предстоит умереть голодной смертью. Ибо, если час и тысячелетие все равно перед той истинной жизнью, которая дана нам, то кольми паче[47] все равно, от чего умереть нам — от голода или например от тифозного микроба. Вот почему Толстой и считал себя плохим „слугой бога“, когда помогал голодающим крестьянам.

Противопоставление „временного“ „вечному“ привело его к тому, что он д о л ж е н был одинаково страдать как тогда, когда он следовал велениям „вечного“, так и тогда, когда служил „временному“. В первом случае он упирался в жестокость, с которой не мог помириться; во втором — не мог найти нравственную санкцию для тех услуг, которые он оказывал людям. В обоих случаях он непременно должен был считать себя непоследовательным и слабым в борьбе с соблазнами. И в обоих случаях он должен был тяжело мучиться сознанием своей слабости и непоследовательности. Вот в чем был „пафос“ его жизненной трагедии!

Противопоставление „временного“ „вечному“ означало разрыв нравственности с жизнью; а разрыв нравственности

[1] „Спелые колосья“, стр. 181—182.

с жизнью роковым образом вел за собой неудовлетворенность потому, что нравственность, оторванная от жизни, так же безнравственна, как и жизнь, утратившая всякое нравственное содержание.

Соблазны, повторяю, если и были, то играли самую незначительную роль. Притом же я еще не знаю, когда Толстой горше упрекал себя в неумении бороться с соблазнами: тогда ли, когда он жил в Ясной Поляне, или же тогда, когда кормил голодающих крестьян.

V

В брошюре „Какова моя жизнь?“[48] есть строки, заслуживающие полнейшего внимания всех тех, которые хотели бы додуматься до правильной оценки учения Толстого. Вот эти строки:

„Как скоро мне удалось разрушить в своем сознании софизмы мирского учения, так теория слилась с практикой, и действительность моей жизни и жизни всех людей стала ее неизбежным последствием“.

„Я понял, что человек, кроме жизни для своего личного блага, неизбежно должен служить и благу других людей; что если брать сравнение из мира животных, как это любят делать некоторые люди, защищая насилие и борьбу — борьбой за существование в мире животных, то сравнение надо брать из животных общественных, как пчелы, и что потому человек, не говоря уже о вложенной в него любви к ближнему, и разумом и природой своей призван служить другим людям и общей человеческой цели“ [1].

На самом деле произошло совершенно обратное тому, что говорит Толстой. Как только ему удалось справиться

[1] Гр. Л. Н. Толстой. „Какова моя жизнь?“ 1902, стр. 137—138.

удовлетворительным для него образом с тем, что он считал софизмом[49] мирского учения, так его теория потеряла всякую связь с практикой, а его представление о жизни утратило всякое действительное содержание.

Толстой советует некоторым людям брать „сравнение из животных общественных“. Последуем его совету.

У общественных животных сильно развиты общественные („социальные“) чувства. Как они возникли? Они развились на почве борьбы за физическое существование. Если бы не было этой борьбы, то не было бы и социальных чувств. Если бы, — чего боже сохрани! — социальные животные пришли к тому убеждению, что болит зуб или живот, — ну и пускай болит, а мне что за дело; если бы они стали уверять друг друга: лучше тебе быть искусанным бешеной собакой, нежели „через много лет“ скончаться например от объядения, то „некоторые“ люди лишены были бы возможности поучаться их примерам потому, что животные общества исчезли бы с лица земли. Таким образом сравнение, сделанное Толстым, говорит против него.

Человек есть живое существо, обладающее известными физиологическими потребностями. Стремление удовлетворить эти потребности вызывает борьбу за существование. Но человек есть общественное животное. Он борется за существование не в одиночку, а группами, — по мере роста производительных сил все более и более обширными. Внутри этих групп возникают отношения, на почве которых создаются правила нравственности, развиваются общественные чувства и стремления людей. То, что повидимому может явиться лишь источником эгоизма, на самом деле порождает, — как результат

совместной деятельности, неизменно проходящей через многие поколения, как следствие продолжительного и прочного согласования общих условий, альтруизм, преданность общему благу, преследование „общечеловеческих“ целей. Толстой никогда не мог понять этой диалектики жизни, как не могли понять ее и просветители XVIII столетия, тщетно бившиеся над вопросом о том, откуда взялись нравственные понятия у человека, который есть лишь „чувствующая материя“, одаренная первоначально только одним стремлением жить, избегая страданий. Этот вопрос был разрешен лишь диалектическим материализмом, оставшимся совершенно недоступным для Толстого [1].

Неумение понять указанную диалектику жизни привело Толстого к совершенно несостоятельному в теории противопоставлению „вечного“ „временному“, „духа“ „телу“. А это противопоставление толкнуло его в лабиринт практических противоречий, крайне тяжело отражавшихся на его нравственном состоянии.

Пример Толстого лишний раз показывает, до какой степени несостоятелен идеализм в деле учения о нравственности.

Читатель помнит, что говорил Толстой о собственности: „собственность — это фикция, воображаемое что-то, которое существует только для тех, кто верит Мамону“. Раз дано противопоставление „вечного“ „временному“, „духа“ „телу“ — из него логически вытекает такой

[1] Говоря о диалектическом материализме, я имею в виду не только то, что было сделано Марксом и его школой. Говоря о развитии общественных чувств у человека и у других животных, Дарвин[50] является глубокомысленным и последовательным диалектическим материалистом. И его пример далеко не одинок.

взгляд на собственность. Но мы уже знаем, что доктрина, основанная на этом противопоставлении, далеко не всегда удовлетворяла Толстого. Поэтому совершенно естественно, что у Толстого есть еще другой взгляд на собственность.

Он различает два вида собственности. — „Собственность, как она теперь, — зло. Собственность сама по себе, как радость на то, что и чем и как я сделал — добро. И мне стало ясно. Не было ложки, а было полено. Я подумал, потрудился и вырезал ложку. Какое же сомнение в том, что она моя, как гнездо этой птицы — ее гнездо, которым она пользуется когда хочет и как хочет. Собственность же, ограждаемая насилием (городовым с пистолетом), — это зло. Сделай ложку и ешь ею и то пока она другому не нужна — это ясно“ [1].

Собственность, ограждаемая насилием, служит источником рабства. Она основывается на эксплоатации человека человеком.

„Рабство есть освобождение себя одними от труда, нужного для удовлетворения своих потребностей, посредством перенесения этого труда на других, и там, где есть человек не работающий, не потому, что на него любовно работают другие, а где он имеет возможность не работать, а заставить других на себя работать, там есть рабство. Там же, где есть так, как и во всех европейских обществах, люди, пользующиеся трудами тысяч людей и считающие это своим правом, там есть рабство в страшных размерах“ [2].

Правда, в нынешних европейских обществах порабощение одних людей другими не так бросается в глаза

[1] „Спелые колосья“, стр. 154.
[2] „Какова моя жизнь?“, стр. 134.

вследствие существования денег. Но деньги только скрывают факт порабощения, а не устраняют его.

„Деньги — это новая страшная форма рабства и так же, как и старая форма рабства личного, развращающая и раба и рабовладельца, но только гораздо худшая, потому что она освобождает раба и рабовладельца от их личных человеческих отношений“ [1].

Если мы сравним это учение о собственности с тем, что писали о ней социалисты-утописты и даже некоторые просветители XVIII века напр. Бриссо[51], то не увидим в нем ничего нового, кроме нескольких наивных выражений [2]. Но социализм, — как старый, утопический, так и новейший, научный — не отрицает мирского и временного во имя вечного. Он знает, что вечное существует только во временном. Он не пренебрегает интересами „тела“ во имя интересов „духа“. Ему хорошо известно, по крайней мере с тех пор, как он стал наукой, — что „дух“ есть функция „тела“, и что объявить сознание независимым от бытия, значит провозгласить невозможность и ненужность контроля сознания над бытием. Короче, точка зрения социализма прямо противоположна точке зрения Толстого.

Почему же Толстой в своем учении о собственности кончает тем, что переходит на социалистическую точку зрения? Опять-таки по той причине, что ему слишком не по себе в бесплодной пустыне квиетизма, в которую ведет его собственное учение.

Лучшие страницы в сочинениях того периода деятельности Толстого, который можно назвать религиозным

[1] „Какова моя жизнь?“, стр. 134.

[2] Великий писатель земли русской был беспомощен как ребенок, когда речь заходила об экономических вопросах. Это особенно заметно в первых главах его брошюры „Какова моя жизнь?“,

периодом, посвящены изображению и разоблачению многочисленных физических и нравственных зол, порождаемых собственностью, основанной на эксплоатации одного общественного класса другим. И несомненно, что эти лучшие страницы привлекли к нему горячее сочувствие многих и многих читателей. Пролетариат чтит в Толстом, едва ли не главным образом, автора этих замечательных страниц. Но никогда не следует забывать, что когда Толстой писал эти страницы, он переставал быть толстовцем. Так что пролетариат, может быть сам того не зная, уважает в Толстом не того человека, который учил жизни, а того, который отказывался от своего учения о жизни. И бесспорно Толстой заслуживал одобрения и уважения за это. Но всегда следует помнить, что едва заходила речь о том, как же устранить те многочисленные физические и нравственные страдания, которые он так хорошо описывал, — и причину которых ему так ясно указали социалисты, — он опять покидал точку зрения „временного“ и возвращался в бесплодную пустыню квиетизма. Тогда он опять выдвигал свое настоящее, т. е. им самим придуманное, а не заимствованное у социалистов учение о собственности, как о чем-то воображаемом, как о фикции, существующей лишь в воображении людей, подчинившихся Маммону [1]. Тогда он опять начинал на разные лады твердить о непротивлении злу и повторять: „Не сердись. Не

[1] Учение это давно уже копошилось в голове Толстого. В 1861 г. его Холстомер[52] так объяснял значение слов: „свой“, „мой“ и проч. „Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковы слова, считающиеся важными между ними, суть слова: мой, моя, мое...“ и т. д. (Сочинения гр. Л. Н. Толстого, ч. I. Повести и рассказы, Москва, 1903 г., стр. 430). Из этого видно, между

блуди. Не клянись. Не воюй". И вот почему он, много заимствовавший у социалистов, справедливо считал себя как нельзя более далеким от них. Он постоянно ставил их на одну доску с попами, которых так не любил в последние десятилетия своей жизни.

В книге „Спелые колосья" есть небольшая, но чрезвычайно поучительная глава: „Смешение представлений". В ней говорится: „Мы часто обманываемся тем, что, встречаясь с революционерами, думаем, что мы стоим близко рядом. «Нет государства!» — «Нет государства». — «Нет собственности!» — «Нет собственности». — «Нет неравенства!» — «Нет неравенства», и многое другое. Кажется, все одно и то же. Но разница есть большая и даже нет более далеких от нас людей. Для христианина нет государства, для них нужно уничтожить государство. Для христианина нет собственности, а они сокрушить хотят собственность. Для христианина все равны, а они хотят уничтожить неравенство. Это как два конца несомкнутого кольца. Концы рядом, но более отдалены друг от друга, чем все остальные части кольца. Надо обойти все кольцо для того, чтобы соединить то, что на концах" [1].

Здесь ошибочное перемешано с верным. Но ошибочное здесь несущественно, а верное крайне важно.

прочим, что Толстой был только отчасти прав в своем рассказе о перевороте, который он пережил в начале 80-х годов[53]. Изменилось только его настроение, а идеи у него остались старые. И в этом несоответствии старых идей с новым настроением заключалась еще одна причина его противоречий и его неудовлетворенности. Впрочем, эта причина второстепенная, производная, в свою очередь являющаяся следствием коренной причины, подробно рассмотренной в тексте.

[1] „Спелые колосья", стр. 69-70.

Так например Толстой утверждает, что революционеры стремятся „уничтожить государство". Это верно только в применении к анархистам[54]. Но анархисты составляют ничтожнейшее меньшинство в рядах революционеров нашего времени, если только вообще можно назвать их революционерами, чего я не думаю. Выходит, что утверждение Толстого неправильно. Неправильно и то его утверждение, что революционеры хотят „сокрушить собственность". Скажу больше, кто привык мыслить ясно и отчетливо, тот даже и не поймет, что значит глагол „сокрушить" в применении к такому общественному учреждению, как собственность. И несомненно, что революционеры наших дней в огромнейшем большинстве своем — т. е. опять за исключением анархистов, являющихся крайне сомнительными революционерами — хотят не „сокрушить" собственность, а придать ей новый характер: заменить частную собственность на средства производства — общественною. „Сокрушение" же собственности, — если понимать под ним насильственное уничтожение или порчу ее предметов, всегда строго осуждалось и осуждается ими, как действие вредное и свидетельствующее о бессознательности людей, его совершающих.

Но это не важно. А в важном Толстой был совершенно прав. Не было и нет людей, более далеких от него, нежели современные социалисты... Вернее, — тех из них, которые вполне усвоили себе смысл своих собственных теоретических взглядов и своих собственных практических стремлений. Нельзя лучше выразиться „это как два конца несомкнутого кольца... Надо обойти все кольцо для того, чтобы соединить то, что на кон-

цах". Кто не понимает этого, тот повинен в смешении представлений.

Многие ли грешат у нас теперь этим грехом, пусть судит сам читатель [1]...

[1] Людям, желающим избежать этого греха, очень рекомендую прекрасную работу Л. Аксельрод (Ортодокс). „Tolstois Weltanschauung und ihre Entwickelung von L. Axelrod, Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke, 1902.